Алексей Кукушкин



Белая тень

Алексей Кукушкин

Белая тень

«Автор»
2026

Кукушкин А. Н.

Белая тень / А. Н. Кукушкин — «Автор», 2026

Он плыл за золотом, а нашёл кита.1598 год. Агент Московской компании Томас Уэллс получает тайный приказ: выведать морской путь на Обь — туда, где поморы уже торгуют пушниной, но куда не ступала нога англичанина. Если путь будет найден, Англия получит доступ к «мягкой рухляди» — соболям, что дороже золота.Карта, которую ему дали, уже прострелена. Кормщица Марфа, ведущая его через льды, молчит и смотрит на море так, будто уже теряла кого-то, а вместе с ними идёт человек, который хочет не разведать путь, а отнять его.По дороге Томас встречает кита, которого поморы зовут Белой Тенью и понимает: он плывёт не за пушниной. Он плывёт за правом не отдавать чужое.Но море не возвращает долгов и когда придёт час выбора, Томас сожжёт карту и останется собой.

© Кукушкин А. Н., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Приказ 5
Глава 2. Отплытие 11
Глава 3. Первый лед 15
Глава 4. Слух о белой тени 19
Глава 5. Пустозерск 25
Г 31
Конец ознакомительного фрагмента. 32

Алексей Кукушкин
Белая тень

Глава 1. Приказ

Туман съедал стены, кованые вывески, конские морды — весь городок вокруг конторы Гаррета тонул в белом молоке. Только дубовая дверь оставалась ясной, будто её обвели углём.

Томас прижал ладонь к ней. Железная скоба отняла тепло даже сквозь перчатку — металл так и не оттаял за ночь. За дверью не слышно ни скрипа пера, ни шагов клерка. Только в соседнем переулке чавкала грязь под чужими сапогами.

Он постучал костяшками. Раз. Два. Три.

Внутри протяжно скрипнули половицы — так стонет обшивка судна на мёртвой волне. Дверь отворилась без приглашения, и в лицо ударил жар: топлёный воск, едкие чернила, мокрая шерсть собственного плаща — всё смешалось в спёртом духе тесной комнаты.

Клерка не было. Томас отметил это вторым — сразу за жаром. В будни за этим столом пахло человеком, который сидит тут с утра до темноты: пропотевшим воротником, кожаным переплётом, стружкой от перьев. Сегодня комнату наполняло чужое дыхание — одно на всю каморку, медленное, стариковское.

Олдермен Гаррет стоял за массивным дубовым столом. Ворот тёмного пукна закрывал горло до подбородка; над бровью седела старая белая полоса — шрам, что не загорал и не бледнел. Свечи горели днём, выжимая из стен дрожащие тени.

Старик обходил стол, волоча правую нога. Шаг неровный, тяжёлый: доска под ним попискивала, проседая. Рядом со свёртком лежал кошель из потрескавшейся кожи. Воск на свёртком был свежий: печать хранила отпечаток пальца, вдавленный по краю. Гаррет развязал горловину и высыпал на сукно горсть монет.

Золото упало на дерево коротким звоном. Томас сглотнул — на языке проступила медь. Тридцать фунтов. Втрое против обычного пая разведчика.

Гаррет постучал костяшкой по столешнице. Три удара, ровные, как гвозди в гроб.

— Три раза по десять. Аванс и остаток по возвращении.

Томас приоткрыл рот. Гаррет положил узловатую ладонь на свёрток — кожа в грубых шрамах от канатов, следы десятилетий на мачтах и снастях. Рука не шевельнулась, пока Томас не переступил ближе. Тогда ладонь ушла в сторону.

Пергамент был тёплым, словно его только что сняли с чьей-то груди. Томас развернул лист. Плотное шуршание наполнило комнату. Москва, вологодские леса, дальше — слепое белое пятно арктической голомени. Устье Оби перечёркнуто аккуратной рваной дырой от мушкетной пули.

Он провёл ногтем по шершавому краю. От бумаги пахло старой кровью — ржавчиной, как от железа под дождём.

— Кто был там до меня? — спросил он.

Гаррет отвернулся к свече. Огонь выхватил из его лица только подбородок и седую щетину.

— Не спрашивай. Спрашивающий идёт туда дважды.

— Сколько их ходило?

Старик кашлянул — сухо, в кулак. В свете свеча его лицо казалось вырезанным из желтоватой кости.

— Четверо. Вернулся один. Без языка.

Томас ощутил, как сводит щёки — от жара, от воска, от чего-то ещё, чему он не знал имени.

— Там уже были, — лицо Гаррета застыло маской. — Найдите то, что они не смогль забрать.

Дыра сквозила бумагу насквозь. Томас чувствовал собственное сердце — глухо, где-в ушах. Чужой почерк на обороте обещал долгую смертную дорогу.

Он свернул карту и спрятал за пазуху, к телу. Бумага остывала, отдавая последнюю чужую теплоту его рубахе. Гаррет снял со стола золотой круг — полый, лёгкий, как скорлупа — и поставил перед ним монету ребром.

— Залог. Воротите — вернёте.

Пополнок. Томас взял его: металл ещё хранил чужое тёпло. В углу настенные часы выстукивали четверти — каждая четверть съедала по часу из трёх дней до отхода приливного судна. Скрип. Скрип. Скрип.

— Судно уходит в пятницу. Опоздаешь — останешься на берегу.

Томас кивнул и шагнул обратно в туман. Холод снова ударил в скулы, изо рта пошёл пар. Запах речной тины, горького угольного дыма, конская моча у стены. Пополнок лежал в кармане тяжело, несоразмерно своей величине.

Три дня отделяли его от слепой метели. Часы за спиной скрипнули ещё раз, воровито, будто крадя у него минуту за минутой.

Той же ночью, в съёмной каморке у дока, Томас встал на колени у кровати. Дубовый пол был холодный, как лёд. Он сжал руки — не так, как сжимают в молитве, а как сжимают то, что можно потерять. Шептал про себя — по-английски, вполголоса, как учили в Йоркшире: Господи, дай мне вернуться. Дай мне вернуться с тем, за чем послал. И дай мне не забывать, что я — человек, а не письмо.

Амен.

Он поднялся. Колени затекли. За окном туман стоял стеной, и в тумане качался фонарь на причале — жёлтая точка, не дрожащая ни на волос, будто её держали с той стороны.

Над лондонными доками висел запах гнилой трески. Визг чаек разрезал серый воздух; белые крылья сновали над мутной водой Темзы, ныряя к маслянистой жиже у стен. Томас шагнул в сторону от колонны грузчиков — сапоги вязли в чёрной жирной грязи набережной. Грязь пахла смолой и чем-то кислым, разлитым давно и навсегда. По бочкам у склада пробежала чёрная крыса и нырнула в тень.

На перевёрнутом баркасе сидела старуха. Лохмотья трепал холодный ветер, выдёргивая из ткани нити. Белёсые глаза впились ему в груди и не отпускали.

Он свернул к сходням, чтобы обойти. Взгляд лёг на плечи свинцовой плитой, пригвоздил к доске.

На языке проступило железо. Пальцы сами сжались в кулаки.

Старуха не двигалась. Ни один палец, ни одна складка лохмотьев — только ветер раскачивал её, и только ветер получал ответ. Так сидит ворона на верхнем ярусе кладбищенской ограды, когда все давно разошлись.

Ветер рвал седые пряди; от старухи тянуло мокрой овечьей шерстью и густым ладаном, будто она провела ночь в часовне над гробами. Вокруг её рта не вился пар — только у неё, из всей набережной, дыхание не белело на морозе.

— Томас Уэллс.

Желудок скрутило ледяным узлом. Своего имени он ей не коназывал. Ни ей, ни кому-либо на этом берегу.

— Сын Уильяма.

Имя отца знал он сам и сырая могила под Йоркширом. Руки окаменели до локтей. Дыхание вышло коротким, рваным.

Старуха разжала потрескавшиеся губы и протянула морщинистую руку. На ладони лежал тяжёлый золотой круг, потемневший от времени, в мелкой резьбе.

— Пополнок. На возвращение.

Томас взял монету. Золото жгло кожу неестественным жаром — вопреки ветру. Вес давил в центр ладони, несоразмерный размеру. По экватору шла двойная спираль: две половины, скрученные воедино. Такого круга он не видел никогда — ни в Лондоне, ни в Йоркшире.

Он достал пергамент. Ветер тут же рванул лист; Томас прижал его к груди и сложил вчетверо. Случайно — так ему показалось — бумага легла краем в полость старухиной монеты.

Сухой щелчок. Резьба сошлась. Свёрток сел в металл, ключ в замок.

Старуха смотрела на его руки. Пальцы её дрожали, но губы улыбались.

— Один он такой. Второго никто не сковал.

Она накрыла его руку своей — ладонь горячая, как печь, — и сжала пальцы на монете.

— Он твой от рождения. Просто долго лежал в словах чужих руках.

Просто долго лежал в чужих руках.

— Откуда ты знаешь моё имя? — голос вышел хриплым, чужим.

Старуха не ответила. Чайка бросилась с мачты вниз, пронеслась над баркасом — белая, мёртво-белая — и унесла вопрос с собой в серое небо.

Томас поднял глаза. Старуха уже смотрел на воду и бормотала что-то в ладан, и слова её тонули в крике чаек. От них остался только ритм — как у молитвы, выученной наизусть давно и неправильно.

Он спрятал монету под дублетом, рядом с залогом Гаррета, и пошёл к сходням. Пальцы после рукопожатия не согнулись с первого раза — тыкали, как чужие. Гул города отступал за спину, будто берег сам выталкивал его к морю. В ушах осталось звенеть — тонко, на одной ноте, как после выстрела.

Он остановился на краю мостков и посмотрел вниз. Вода подтягивалась к кромке, тёмная, вязкая, с плёнкой мазута. В ней отражался серый клочок неба — и ничего больше. Даже его собственного лица не было.

Томас сплюнул под мостки. От дурака. От бессонной ночи. От слова «сын», произнесённого чужим беззубым ртом.

На языке всё ещё стояло железо. Он провёл языком по нёбу — и вкус не уходил, будто кровь нашла выход где-то глубоко в горле.

Над причалом тянулся скрип канатов. Дёготь, мокрая лиственница, солёная гниль — запах въедался в ноздри и оставался на языке, горький, как пережжённый хлеб. Томас ступил на доски; подошва скользнула по рыбьей слизи, и он поймал равновесие, вцепившись в чугунный столб. Металл куснул ладонь холодом сквозь перчатку.

За ним шёл Фэрфакс — агент Московской компании, назвавшийся в конторе Гаррета «сопровождающим до Холмогор». Тяжёлый шаг, запах пороха; душистая мазь, которой старый вояка протирал усы, не перебивала кислый пот под мышками.

У кнехта стояла Марфа. Серый зипун, рукавицы до локтя, волосы убраны под туго стянутый платок. Вокруг суетились нанятые: мужики с узлами, баба с котомкой, мальчишка с коромыслом, пьяный боцман ругался с подрядчиком из-за цены на смолу. Пар изо всех ртов шёл к небу столбами.

Марфа смотрела на воду. Стояла так, будто была вбита в причал — деталь корабля, ещё не спущенного на воду. Ветер швырял в неё брызги; она не вздрагивала.

Томас открыл рот — она подняла ладонь, не оборачиваясь.

— Прилив через четверть склянки, англичанин. Вода уже поднялась на пядь. Твой ходок ошибся.

Голос низкий, с оканьем: камень, катящийся по гальке. Фэрфакс дёрнул плечом.

Томас глянул на воду. Пенная полоса ползла по камням быстрее, сапоги вязли. На языке снова проступило железо.

— Тридцать фунтов, — сказала Марфа, не глядя и не торгуясь.

Фэрфакс выдохнул через нос и шагнул вперёд. Доски застонали под его весом, по всему причалу прокатилась дрожь.

— Баба, ты себя слышала? За такие деньги я двух кормщиков найду. С подпасками.

Пенная кромка дотянулась до нижней ступени сходней — ровно, как обещала.

Марфа повернула голову медленно. В глазах ни злости, ни усмешки — холод, как у зимней воды под коркой льда. От неё пахло мокрой шерстью, речной тиной, трюмом, где месяц не держали сухого груза.

— Найди. Только до Оби не дойдут. Там лёд не по картам. В прошлый ход встал по самые губы в октябре.

Фэрфакс сплюнул на камни. Слюна побелела, когда ударилась о ещё не скрытые приливом камни.

— И куда же поведёшь? Через Печорское?

— Мимо Канина камня. Где горло у воды. Иного пути нет.

Над причалом повисла тишина. Где-то за спиной бил молот. Раз. Два. Три. Чайки срывались с мачт и пропадали в сером небе.

Фэрфакс открыл рот — закрыл. Томас смотрел на её руки: пальцы в рукавицах сжаты, не дрожат.

Он достал кошель, отсчитал золото. Звон по дереву вышел коротким, сухим.

— Согласен.

Марфа кивнула на кошель, но золото не взяла. Вместо этого повернулась к нанятым и хлопнула в рукавицы — раз, другой. Сухой хлопок раскатился по причалу, и суета мгновенно встала: узлы осели в кучи, боцман замолчал на полуслове.

— Груз под дно трюма, камни поверху. Соль под матрацы. Кто понесёт над бортом — платит сам.

Мужики сняли шапки. Один перекрестился — быстро, будто обжигался.

Томас пересчитал оставшееся. Марфа кивнула на кошель.

— Плати пополам. Половину сейчас, половину — в Холмогорах. Умрёшь до тех берегов — вторую пропьёшь.

Фэрфакс не уходил. Он встал ближе, чем принято, его сапог наступил на край её платка. Дыхание тяжёлое, с хрипом, в нём слышался хмель — дешёвый эль, кислое ржаное зерно.

— А ну покажи, баба, как ты руль держала. Руки-то есть?

Марфа подняла глаза. В них не было страха — что-то холоднее голомени.

Сзади сухо щёлкнул курок: Фэрфакс взводил двуствольный пистоль для острастки. Щелчок — как перелом ветки в мороз.

Томас встал между ними. Плечом в грудь Фэрфакса, локтем к пистолю. От борта пахнуло мокрым пеньковым канатом.

— Хватит. Сделка есть сделка.

Фэрфакс сплюнул на доски. Слюна упала рядом с сапогом Марфы. Она не моргнула.

— Руку, — сказал Томас. — По-английски скрепим.

Фэрфакс хмыкнул. Марфа посмотрела на него, потом на Томаса и медленно стянула правую рукавицу. Зубами потянула кожу у запястья — шерсть скрипнула.

Рука была широкая, в мозолях, наждак. Томас взял её. Холодная, крепкая.

И только сейчас увидел: указательного и среднего пальцев нет. Не отрезаны — отрублены. Культя в старых шрамов, кожа натянулась буграми, как ствол дерева после удара топором.

Она не прятала руку. Тепло от её руки шло в его ладонь — живое, пульсирующее, вопреки отсутствию.

Томас молчал, потом кивнул.

— Лиственница, — произнесла Марфа, освобождая руку. — На мачту пошла моя. Трещала в шторм, кость, а я её держала. Все молились — я держала. Пальцы — малая цена за мачту.

Она натягивала рукавицу обратно, затягивала ремешок у запястья зубами. Фэрфакс отошёл, сплюнул ещё раз, и доски под ним вздохнули.

Ветер с моря бил в лицо, колкий, с крупинками соли. Они оседали на губах — соль горькая, не трапезная.

Он сунул кошель в карман. Золото звенело глухо.

Он глянул на судно: двухмачтовый пинк, перекрашенный в тёмный цвет, с латаными парусами. Мачта — из той самой лиственницы, новая, светлая, выделяющаяся среди потемневшего дерева. На корме, под свежей краской, проступал силуэт стёртого старого имени — кто-то счистил буквы до волокон.

Марфа уже шла к трапу, не оглядываясь, и доска под её ногами не скрипнула. Нанятые потянулись следом: узлы, котомка, коромысло. Боцман икнул и полез на палубу ползком, вытянув руки — по-медвежьи.

Один из нанятых — молодой, широкоплечий, с розовыми ушей, простуженный насквозь — поднимал по сходням мешок с крупой и с половины сходней глянул на Марфу. Мешок съехал — и Марфа, не оборачиваясь, протянула руку без двух пальцев и поймала мешок в воздухе. Нанятый споткнулся, заикаясь:

— П-простите, к-кормщица...

— Билль, — сказала Марфа. — Йоркширский? Язык — русский, руки — свои. Работай.

Томас посмотрел на Билла. Лицо открытое, покладистое, но глаза бегали — как у человека, который давно научился бояться голосов за спиной.

Фэрфакс наклонился к его уху. Пахнуло порохом и кислым потом.

— Она не просто кормщица, Уэллс.

Томас не ответил. Марфа ступала по палубе твёрдо, как по льду.

Что там было в тех пальцах? Почему она не кричала, когда их рубили?

Гаррет платил втрое. Теперь Томас знал — за что.

Дубовая переборка дрогнула от удара сапогом. Томас вошёл в каюту и задвинул засов изнутри. Тяжёлый запах топлёного воска и сырой трухи. Свеча на столе металась от сквозняка, гоняя по брёвнам длинные тени. Над головой скрипела палуба, и стук напоминал биение чужого сердца — пока Томас не понял, что это его собственный.

Под днищем дышала вода: вздох — и тишина, вздох — и тишина. Пинк упирался в неё килем, как зверь в носилках. С берега доносился лай собаки — редкий, надтреснутый, будто её оставляли.

Он достал пополнок старухи. Гладкие грани резали кожу — холодный металл, чуть тёплый сверху, где он лежал в руке. Второй, гарретовский залог, оставался под дублетом: тот был другой монетой — не полой, сплошной, с чеканным кругом вокруг герба компании. Один — дорога. Другой — долг.

Он повертел монету в пальцах, нашёл тонкий шов посреди спирали. П половины расходились с тихим щелчком — внутри пустота, отполированная до блеска, как дно раковины. Ни гравировки, ни клейма. Только два маленьких углубления, куда легла бы карта, сложенная вчетверо.

Пергамент шуршал, пахнув сухой пылью и рыбьим клеем. Томас придвинул свечу к желтеющей поверхности.

Тусклое пламя выхватило из полумрака круглое отверстие.Края не несли чёрной гари — пуля прошла насквозь, не задев бумаги огнём. Бумага вокруг прострела истончилась до прозрачности; подушечка пальца собрала с края мелкую мучнистую пыль.

Карта пережила десятки морских переходов. Чужие руки держали её, когда Томас ещё не родился. Сколько из них ушло за эту белую пустоту на краю света — и не вернулось?

Он поднял монету к свече. Тень от кольца легла на стол тонкой тёмной дорожкой.

Он перевернул лист. Оборот пестрел навигационными пометками, густо замазанными едкими чернилами. Сквозь хаос проступала одна строка.

Буквы ложились неровно, дрожащей рукой. Странная вязь: латинские петли вплетались в русские вязи, будто писали двое — в одном теле.

Свеча треснула, окатив лицо жаром. Томас наклонился ниже, дыхание гнуло пламя.

Он соскоблил затёк чернил кончиком ножа — лезвие пахнуло уксусом, каким травили сталь — и буквы пошли ровнее, сцепились в два слова.

Не ходи.

Два слова, дражащие, выдавленные в сухой бумаге. Кто-то держал этот лист в руках, о которых он не хотел думать, — и писал ему.

Фитиль почернел и погас. Каюту залила темнота; гулкий стук собственного сердца заполнил уши. Запах гари щипал ноздри. Томас свёл половины монеты — тихий щелчок, как тогда, на набережной. Золотая скорлупа закрылась, пряча карту внутри. Тёплый металл сел в ладонь — уже с его собственным теплом, и от этого он не мог отвести от него руки.

Томас вспомнил: старуха дышала без пара. Ни у кого больше на берегу — никто.

Они уже ждали его на берегу.

Глава 2. Отплытие

Свинцовая волна захлестнула борт коча и ушла, оставив на палубе тяжёлую солёную пену. Томас держался за ванты — промёрзшая пенька врезалась в ладони через перчатки, и он почувствовал, как натёрло до крови: тёплая сыть бегала по пальцам и мгновенно стыла. Ветер срывал слова с губ раньше, чем они успевали их сказать.

Мачта-лиственница гнулась над головой. Он слушал её — древесина стонала глухо, тягуче, но не трещала. Томас уже знал этот звук: дуб ломается, лиственница говорит.

Марфа стояла у румпеля, лицо закрывал мокрый шерстяной платок. Видны только глаза — серые, тяжёлые, вода перед штормом. Иней оседал на её ресницах и на ворсе зипуна; она словно прорастала белыми нитями, и коч придавал ей зиму.

— Прибавь парусов! — крикнул Томас. — Уйдём от сморози!

Марфа не обернулась. Рука лежала на шершавой древесине румпеля, и пальцы её не разжимались с самого выхода из устья.

— Море не любит спешки, англичанин. Ложимся на фордевинд.

Томас сжал кулаки. В Англии его слушали с первого слова. Здесь он был пассажиром на чужом судне, и судно это уже решило, что с ним делать.

Ванты ответили гулким звоном. Солёная вода въелась в трещины на губах, оставила горький налёт, который не стереть языком.

Фэрфакс стоял рядом, плащ его раздувало ветром. От него пахло порохом и кислым потом, который пропитал и шляпу, и кобуру. Он выхватил пистоль — воронёная сталь блеснула даже в этой мгле — и навёл ствол на матросов, что возились со шкотами.

— Add sail, damn you! We must outrun the frost! — Добавь парусов, чёрт возьми! Мы должны обогнать мороз!

Рука его дрожала. Не от холода.

Томас перехватил её, оттиснул ствол вниз. Дуло уткнулось в мокрую древесину палубы.

— Убери. Здесь не Англия.

Фэрфакс вырвался, отступил на шаг. Глаза метнули искры — и погасли. Пистоль ушёл за кобуру.

Вода под килем меняла цвет. Свинцово-серая гладь становилась молочно-белой, мутной, как парное молоко, разбавленное водой. Под днищем прошёл первый хруст — не звук, а вибрация, поднявшаяся в подошвы сапог и застрявшая в коленях.

Это была склянка. Тонкая ледяная корка, что ломается под тяжестью судна и не предупреждает.

Треск шёл со всех сторон. Запах озона повис в воздухе — тяжёлый, металлический, как до первой бури.

Впереди, в серой пелене, проступали грязно-белые гряды. Забереги. Море дышало, старый зверь, выпуская из ноздрей ледяную пыль.

— Трави шкоты, ребята. Ложимся на фордевинд.

Голос Марфы был ровный, без дрожи. Паруса опали, тяжёлая пенька зашуршала по мачте. Коч вошёл в сплошное поле льда, скорость упала — и судно замерло. Вокруг простёрся белый шум, прерываемый только треском сжимающегося пака. Пополнок Гаррета в кармане Томаса холодил бедро, будто воровал тепло у кожи.

Марфа смотрела на горизонт, не отрывая рук от румпеля. Белая тишина замкнула их в кольцо.

Из густой мглы над торосами выплыл поморский карбас. Киль заскрежетал о наст — звук протяжный, томительный, от него Томасу свело лопатки. За бортом стонал сам лёд под тяжестью чужого веса.

Шумов перелез через борт. Сапоги хлюпнули по насту, оставляя мокрые следы. От него пахло прелой рыбой и кислым дымом трубки, кровь въелась в поры ладоней — синие пятна между пальцами, которые не отмыть ничем. Он молча кивнул, не глядя англичанину в глаза.

За его спиной, у мачты, стояла Аня — толмачка, нанятая ещё на причале, где Гаррет платил втрое. Её привёл ходок олдермена, сунул под руку котомку и сказал: «Говорит по-нашему и по-вашему». Она стояла теперь, заправив платок за уши, и смотрела на карбас так, будто видела его не впервые.

Шумов выложил на лёд товар: мешочек крупной соли, три пласта вяленой нерпы, чёрной, просмолённой. Из карбаса тянуло гарью жёлтого огня — жировая плошка, её дым шёл низко, по снегу.

Томас достал из-за пазухи вторую монету — ту, что отдала старуха. Полый золотой круг. Он не отдавал бы её, если бы Фэрфакс не стоял за спиной и не считал всё, что лежит у Томаса под дублетом. Пришлось платить тем, что не жалко.

Шумов взял пополнок скользкими пальцами, взвесил на ладони. Монета ушла в рукав рубахи — ткань глухо шуркнула.

— Моя-по-твоя, — выдохнул торговец, сплёвывая в снег.

Соль хрустнула под сапогом Томаса — сухой, звонкий скрип кристаллов, вмёрзших в наст. Сделка свершалась там, где кончались слова.

Он развернул карту. Пергамент зашуршал, пахнув сухой пылью и рыбьим клеем. Он ткнул пальцем в линию, уходящую на восток, к Оби.

— Where is the way? — Где путь?

Аня перевела медленно, гласные её растянулись, слова легли на лёд, как заклинание.

— Он сказал — путь закрыт дыханием зверя, чуженин. Зверь дышит — лёд встаёт.

Шумов кивнул. Томас посмотрел на его рот. Рот двигался дольше, чем звучал перевод.

Марфа отвернулась от румпеля. Один взгляд — и Аня опустила глаза.

— Не всякого слова сказка, англичанин. Она сказала не всё.

Шумов впервые поднял глаза. Взгляд его был тяжёлый, мутный, как вода под весенним льдом.

— Белая Тень ходит, англичанин. Кит ломает лёд, уводит корабли в бездну. Его спина — остров. Его выдох — туман. Над ним не молятся вслух — он это слышит.

Аня отвернулась к борту, плечи её дёрнулись.

— Он говорит — шторм близко. Надо ждать окна.

Томас смотрел на её спрятанные в рукава руки. Слова Шумова и перевод не совпали, как две дороги, которые сходятся только в тумане.

Шумов спрыгнул в карбас. Лёд треснул под его весом, трещина побежала к кочу и оборвалась. Карбас оттолкнулся от тороса и ушёл в белую мглу, не оглянувшись. На палубе остался узелок соли, перевязанный жилкой.

Томас поднял узелок. Жилка холодила пальцы. За льдом кто-то дышал — ровно, терпеливо, не уходя.

Звук пришёл из-под воды. Глухой, как пушечный выстрел в тумане. Коч дёрнулся, накренился на правый борт, брёвна стонули, сжимаясь в тисках. Томас схватился за ванты — мокрая пенька, ещё тёплая от его крови.

Лёд вокруг судна полз, смыкался. Ночь превращалась в белую клетку.

Матросы выбежали на палубу с баграми, рубя наледь у бортов. Железные крючья звенели о лёд, ледяная крошка летела в лицо, колола щёки. Билл орудовал багром рядом с Фэрфаксом, заикаясь сквозь зубы:

— Р-рубим, сэр... рубим...

Фэрфакс стоял у грот-мачты, сжимая рукоять из моржового клыка — серебряная насечка резала его ладонь, и он этого не чувствовал. От него пахло страхом, чистым, как спирт.

— Рубите лёд! — крикнул Томас. — Рубите, пока не поздно!

Но лёд уже сжимался, поднимая коч, как щепку. Слова не бьют по льду.

Марфа вышла из рубки медленно, неся пучок сухого вереска. Чиркнула кремнём, дунула на искру. Горький едкий дым заполнил палубу, защипал глаза. Она обходила судно, окуривая ванты, румпель, каждый шов между брёвнами. Дым стелился низко, цепляясь за мокрую шерсть зипуна.

Фэрфакс сплюнул за борт.

— Бабьи сказки. Лёд не остановишь дымом.

— Лёд не остановишь, — Марфа не обернулась. — Хозяина — можно.

Он рассмеялся. Смех вышел пустым, как эхо в пустой бочке.

Давление нарастало. Лёд лез на борт, и коч кренился, скрипя килем. Томас смотрел на мачту: лиственница изгибалась, стонала, но держала. Дуб бы давно раскололся. Эта гнулась — живая.

Вода в полынье у борта начала пузыриться. Мелкие пузырьки поднимались к поверхности, как дыхание сквозь щель.

Фэрфакс взвёл курок пистоля. Щёлкнул он сухо, как перелом ветки в мороз.

— Что там? Что в воде?

Голос его дрогнул на последнем слове.

Томас не ответил. Под льдом проступало белое пятно — и оно двигалось против течения. Огромное. Живое.

Киль подняло. Коч накренился, выпрямился, снова накренился — лёд ходил под ним, как живой. Потом трещало, разламывалось, раскрывая разводье.

Белая спина прошла под судном. Огромная, в старых шрамах, дышащая. Тяжёлый влажный выдох ударил в лицо — пар, тина и соль одновременно.

Томас стоял на коленях, руки обожжены дымом вереска. Он был протестантом, и молитвы его были тихими, без жестов. Но он шептал — быстро, сбивчиво, слова из детской Библии, забытые и вернувшиеся. Поморские матросы молчали, как по команде. Никто не крестился над водой.

Фэрфакс выстрелил. Щёлк. Осечка — кремень попал по сырому замку, а порох Фэрфакса, пропитанный ночным туманом, не хотел гореть. Море показывало, кто здесь стреляет.

Лёд расходился. Открывалась чёрная вода.

И из неё, первый раз за всё, раздался выдох — низкий, вибрирующий, долгий. От него дрогнула вода в полынье и скрипнула мачта. Дыхание Белой Тени.

Рассвет проступал сквозь туман бледно-розовой полосой. Он окрашивал иней на снастях в цвет застывшей крови. Томас сидел на просмоленной бочке, вжимаясь спиной в шершавое дерево мачты. Холод пробрался сквозь камзол и осел на костях тяжёлым грузом.

Марфа подошла бесшумно. Ступала так, что доски не скрипели — или они боялись её. Она протянула глиняную чашку. От отвара поднимался пар, неся горечь полыни и сушёной морошки.

— Пей. Это от цинги.

Томас обхватил чашку ладонями. Глина обжигала живым теплом. Он сделал глоток — горечь разошлась по языку и смыла страх ночи. Сладость морошки пришла после, лёгкая, почти чужая.

Марфа стояла рядом, глядя на серую линию горизонта. Правая рука была скрыта рукавицей из оленьей шкуры. Она медленно развязала ремешок у запястья. Шерсть зашуршала о кожу.

Рукавица упала на бочку.

Указательного и среднего пальцев не было. Кожа натянулась на конец руки ровно, гладко, как шрам на борту старого коча после долгого плавания.

Томас не отвёл взгляд. Пальцы сжали чашку так, что костяшки побелели. Отвар плеснул через край и обжёг запястье — горячо, до красной полосы.

— Как?

— Море забрало, — сказала Марфа. — Я не отдала.

Она подняла руку и дала ему посмотреть — не пряча, не жалея. Тепло шло от обрубленных пальцев, ровное, живое, как от чужой ладони. Кровь не переставала ходить там, где не было пальцев.

Потом она взяла из его рук карту. Пергамент шурхнул, пахнув пылью и рыбьим клеем. Марфа провела рукой без двух пальцев по дырке от пули — по шершавым краям отверстия.

— Дырка — от мушкета, — сказала она. — Кто-то стрелял до тебя. Тот, кто шёл раньше.

Она указала за борт, туда, где в тумане ещё висел белый силуэт. Потом — на линию курса, прочерченную на карте.

— И стрелял он по курсу. Не по зверю — по пути. Кто-то не хотел, чтобы ты дошёл до Оби.

Томас смотрел на дыру, на линию, на свои руки. Всё, что он знал о маршруте Гаррета, складывалось теперь иначе: он шёл не первый, и не за него не стреляли — за тех, кто пойдёт после.

Фэрфакс вышел на палубу, шатаясь от слабости. Лицо серое, руки дрожали. Он взялся за кобуру — и замер.

Пистоль был на месте. Тяжёлый, тёплый от его бедра, живой. Но курок его был взведён с ночи, и замок — мокрый насквозь.

— Осечка, — сказал он тихо, не Томасу. Себе. — Первый раз за девять лет службы.

Марфа не повернулась. Только сказала — ровно, в спину:

— Держи его подальше от воды, англичанин. Не из страха — из уважения. Море запоминает дула.

Фэрфакс молчал долго. Потом опустил курок, спрятал пистоль и отошёл к борту — туда, где Ульяна стояла у перил.

Ульяна смотрела в воду, не мигая, и губы её шевелились — тихо, беззвучно, молитва или песня.

Томас подошёл. От неё пахло кедровой смолой и снегом — чистый запах, без примеси.

— Что ты видишь?

Ульяна не обернулась. Палец указал в воду — туда, где под тонкой коркой проступало белое пятно. Оно двигалось медленно, огромная тень, дышащая.

— Белая Тень, — прошептала она. — Он смотрит на нас.

Томас посмотрел в воду. Белое пятно замерло. Потом медленно начало подниматься — кит, огромный, древний, в шрамах от встреч со льдами.

Он смотрел на них и не уходил.

Томас нашёл рукой за пазухой полую монету старухи — нет, ту уже взял Шумов. Гарретовскую. Залог. Он сжал её — и впервые подумал, что залогом он отдал не золото.

Залогом он отдал себя.

И где-то там, за туманом, за льдом, за востоком, кто-то уже считал цену.

Глава 3. Первый лед

Свинцовая ночь наливалась холодом, и вместе с морозом в щели между брёвнами пробирался тот особый холод, что вытягивает тепло из дерева, из костей, из слов. Луна висела низко — бледная, больная, с жёлтыми пятнами сквозь молочный туман. Над горизонтом тянулась еле заметная зелёная полоса северного сияния — тонкая, как след от лезвия, готовая лопнуть.

Мороз стоял крепкий, градусов двадцать пять. Дыхание застывало в воздухе белыми клубами, оседало инеем на ресницах, на бороде, на ворсе овчинных зипунов. Металл лееров был мёртвым от холода — прикоснись к нему голой рукой, и ладонь прилипла бы, содрав кожу.

Томас Уэллс стоял у борта и чувствовал, как пак ползёт по обводам коча — смыкается, давит на палубу медленной, нечеловеческой силой. Он плотнее запахнул суконный плащ, пропитанный дёгтем: тот держал холод, но не навсегда. Под плащом — шерстяной камзол тёмно-синего сукна, льняная рубаха, кожаные штаны, сапоги до колен с железными набойками. Перчатки из оленьей шкуры с заячьим пухом грели, но пальцы всё равно коченели — мороз пробирался сквозь кожу медленно, как вода сквозь паклю.

Матросы метались по палубе. Багры — железные, на длинных древках, с острыми крючьями — цепляли лёд у бортов, пытаясь отодрать. Топоры — плотничьи, берёзовые рукояти, гладкие от пота — глухо врубались в наледь. Лёд лишь стонал и не сдавался: он рос быстрее, чем его рубили, нарастая слоями, как нарастает иней на бороде — не заметишь, а уже седой.

Гулкий треск шёл со всех сторон, нарастая, заполняя тишину между волнами. Ледяная крошка летела в лицо, секла щёки, оставляя жгучие солёные полосы. Палуба пахла ворванью и дёгтем — тяжёлым, густым духом, который въедался в одежду и уже не выветривался.

Томас сжал топорище до побелевших костяшек. Шершавое дерево впивалось в ладони, но холод от железа был злее — он забирался под перчатки, к суставам. Томас знал: если пальцы перестанут гнуться, он не сможет держать штурвал, не сможет вести судно.

Лёд вокруг коча дышал — выпускал клубы ледяной пыли, оседавшей на ресницах. Каждый вдох отдавался в груди колючим холодом, как вдох над прорубью.

Марфа вышла из рубки. Овчинный серый зипун, ремень из сыромятной кожи, рукавицы до локтя, платок туго завязан под подбородком. На ногах — торбаза из камусной шкуры, не скользившие по наледи. Она ступала тяжело, уверенно, будто лёд под ногами был ей родным полом. Остановилась посреди палубы.

— Бросайте топоры, ребята. Лёд не рубится. Он живёт по своим законам.

Томас обернулся. Лицо его исказилось, челюсти сжались.

— We must cut through! We cannot stay here! — Мы должны прорубиться! Мы не можем остаться здесь!

Он рубанул топором по льду. Лезвие вязло в сморози, не оставляя следа — как если бы рубил воду.

Марфа подошла ближе. Рука легла на борт, и она держала её там, чувствуя вибрацию дерева. От неё тянуло мокрой шерстью и речной тиной — живым тёплым запахом, который перебивал всё мёртвое вокруг.

— Железо не рубит лёд живых, англичанин.

— Тогда что рубит?

— Время. Оно и здесь рубит.

Лёд лез на борт, поднимая коч. Грязно-белые гряды торосов давили на обшивку, выдавливая воздух из дерева — судно хрустело, как сжатая в кулаке соломинка. Томас видел, как мачта-лиственница изгибается, трещит, но не ломается. Её стон наполнял пространство — тяжёлый, надрывный, живой. Дуб бы давно раскололся, не выдержав давления. Эта гнулась — и держала.

Запах древесной смолы повис в воздухе, горький, тягучий. Вибрация палубы под ногами передавалась в кости, в зубы.

Томас отпустил топор. Руки дрожали. Лёд давил, сжимал, утягивал судно в своё белое царство — медленно, неотвратимо, как утягивает полынья.

Фэрфакс стоял у грот-мачты. В английском камзоле и плаще, у пояса — кобура с кремнёвым пистолем: воронёная сталь, два ствола, рукоять из моржового клыка с серебряной насечкой. Гордость Лондона. Он выхватил его, взвёл курок и направил ствол на лёд.

— Каким-то образом эти... существа слушают её. Значит, услышат и свинец.

Пальцы его скользили по холодному железу. Щёлк — курок сорвался, замок высек искру.

Осечка.

Порох отсырел от соли и холода — не хотел гореть. Фэрфакс дёрнул курок снова. Щёлк. Снова. Щёлк. Запах пороха ударил в нос, но дыма не было. Отдача осталась призрачной, не случившейся.

— Проклятая сырость! — Он ударил прикладом о борт. Железо звякнуло о дерево. — Проклятая вода, проклятый холод, проклятая...

— Проклятая баба, — договорила Марфа за него. — Скажи как есть.

Он не ответил. В этот момент киль подняло — лёд вокруг затрещал, разламываясь, образуя разводье, чёрное, как индиго. Коч закачался на воде — свободный, но израненный.

Томас стоял на коленях. Он был протестантом, и молитвы его были тихими, без жестов. Но он шептал — быстро, сбивчиво, слова из детской Библии, забытые и вернувшиеся. Поморские матросы молчали. Никто не крестился над водой.

Море отступило. Но помнило.

Бледно-розовый рассвет полз по заберегам, окрашивая торосы в цвет застывшей крови. Туман был молочным, густым, пах озоном, и в нём растворялись очертания льдин. Команда спала вповалку, укрывшись овчинами; кто-то всхрапывал, кто-то бормотал во сне. Билл прикорнул у грот-мачты в тонкой овчине — он не доверял теплу судна и боялся пропустить беду. Фэрфакс спал в рубке один, со свечой, будто свет был ему защитой.

Марфа вышла на палубу с пучком сухого вереска. Чиркнула кремнём о кресало — искра упала в сухую траву, треснула коротко. Горький, едкий дым пополз по палубе, щипля глаза, оседая на ресницах мелкой пылью. Она обходила коч медленно, касаясь дымящимся пучком каждой ванты, румпеля, каждого просмоленного шва. Дым стелился низко, цеплялся за настил, полз к борту.

Фэрфакс поднялся к полудню — вернее, к тому, что здесь сходило за полдень: небо не светало, а лишь бледнело. Встал у борта, вцепился в леер. От него несло потом, кислым табаком, порохом, въевшимся в кожу кобуры. Он сплюнул за борт. Плевок упал в чёрную воду и растворился без звука.

— Foolish woman and her weeds, — сказал он Томасу вполголоса. — Глупая баба и её травы. Суеверия не держат кораблей на плаву, мистер Уэллс.

Марфа не обернулась. Голос катился по палубе ровно, без единой дрожи:

— Лёд не унять, англичанин. Хозяина — унять можно.

В разводье, в чёрной воде, мелькнула серая спина. Тюлень вынырнул, фыркнул. Брызги упали на лёд — и застыли на лету.

Фэрфакс вскинул пистоль. Приклад ударил в плечо, воронёный ствол качнулся, ловя цель. Томас дёрнулся к нему — поздно.

Он нажал на курок. Щёлк. Сухой, короткий, как переломленная ветка. Капсюль не вспыхнул. Фэрфакс дёрнул курок снова. Щёлк. Снова. Щёлк. Пороху не было ни шанса — ночь вымочила его насквозь.

Тюлень нырнул — уже не зверь, а вопрос, оставшийся без ответа.

И тогда Марфа повернулась.

Она прошла к Фэрфаксу — шаги тяжёлые, ровные, торбаза хлюпнули по мокрому настилу. Протянула руку без двух пальцев, и пальцы сомкнулись на стволе одним плавным движением. Металл был тёплым от его руки, тяжёлым, неживым.

— Отдай.

Фэрфакс зарычал, дёрнул руку. Она не отпустила. Костяшки её побелели — но не от злости, от усилия, и это усилие было спокойным.

— Ты трижды щёлкнул в зверя и трижды промолчал, — сказала она тихо. — Хозяин слышал. Он запомнит твой курок. Отдай — пока счёт не вырос.

Фэрфакс разжал пальцы — неохотно, медленно, как отпускают то, что считают своим по праву. Пистоль перешёл в её руку.

Лязг железа о дерево. Крышка люка трюмного отсека откинулась — снизу пахнуло гнилой водой, старой пенькой, затхлым воздухом, который не выветривается годами. Пистоль исчез в темноте.

— Умные вещи в трюме живут дольше, — сказала Марфа и закрыла люк.

Фэрфакс открыл рот — губы шевельнулись, но звук не вышел. Он посмотрел на Томаса. В глазах его было то, что Томас потом вспоминал долго: не ярость — растерянность человека, у которого отняли не оружие, а привычку к нему.

— Это судно, — сказал Фэрфакс сдавленно, — плавает не по законам моря. Оно плавает по её законам.

— Да, — сказал Томас. — И потому оно плавает.

Фэрфакс отвернулся и ушёл в рубку. Свеча за окном дрожала до вечера.

Вода в полынье у борта начала пузыриться — мелкие пузырьки поднимались к поверхности тесной чередой, лопаясь с сытым утробным бульканьем. Звук шёл из-под воды — глухой, тяжёлый, вибрирующий. Томас стоял на носу, сжимая в руке карту с дыркой. Вибрация борта передавалась в подошвы сапог — как будто под днищем крутился огромный вал, и судно дрожало в такт этому движению.

Билл попятился от борта, упираясь спиной в грот-мачту. Глаза расширились, зубы оскалились в беззвучном крике. Хрип вырвался из горла — короткий, рваный.

— О-она... она и-идёт...

Томас не обернулся. Под льдом дышало чужое нутро.

Белое пятно проступило под коркой — огромное, движущееся против течения. Коч накренился, приподнятый невидимой массой. Брёвна заскрипели, жалуясь на нагрузку. Билл упал на колени, бормоча торопливо, с заикающимся выдохом.

Кит выдохнул. Тяжёлый влажный выдох ударил в лицо — пар, тина и соль одновременно. Белая спина прошла под судном, огромная, в старых шрамах, дышащая. Тёплый пар осел на лице, на ресницах, на карте в руке. Запах стоял густой, древний, как запах погреба, где веками держали солёное мясо.

Глаз появился у борта. Чёрный, круглый, размером с блюдце. Он смотрел на Томаса — без злобы, без интереса. Просто смотрел. Воздух дрогнул, как дрожит воздух перед грозой.

Томас посмотрел на карту в руке. Дырка — не ошибка. След. Кто-то стрелял до него — и стрелял сюда, в это место, где вода не терпела чужих линий.

Кит моргнул — медленно, тяжело. Веко опустилось и поднялось. Потом зверь погрузился, и лёд вокруг трещал, разламываясь, открывая чёрную воду. Судно осталось висеть над глубиной — над тем, что не отражает небо.

Дырка в пергаменте глядела на Томаса снизу вверх. След того, кто шёл раньше.

Каюта давила низкими просмоленными сводами, хранящими тяжкий дух рыбьего клея и сырой трухи. Томас придвинул сальную свечу к расстеленному пергаменту. Огонь метнулся, выхватывая из полумрака желтеющую поверхность карты — навигационные линии, крестики становищ, русловые пометы, написанные чьей-то твёрдой рукой десятки лет назад.

Палец скользнул по круглому отверстию. Края дыры шершавили кожу, оставляя на подушечке мелкую мучнистую пыль.

Дверь каюты скрипнула, впуская клубы морозного тумана. Марфа шагнула внутрь, неся с собой запах мокрой шерсти и речной тины.

— Карта мертва, Томас.

Она молча забрала лист из его рук. Ладонь её обожгла его пальцы живым, тяжёлым теплом — так греет печь в остывающей избе.

Марфа провела пальцем по пулевому прострелу. Потом указала за борт, туда, где свинцовая вода сливалась с низким небом.

— Твоя бумага врёт, англичанин. Путь лежит не по чернилам.

— А по чему?

— По нутру. По году. По зверю. — Она положила карту на стол и расправила ладонью. — Смотри. Стрелок целился не в зверя. Зверя в море не убьёшь мушкетом — это как муху убивать через реку. Он целился в курс. Пробил путь — чтобы тот, кто пойдёт следом, прочитал дыру как свою смерть.

Томас смотрел на линию курса, уходящую через прострел.

— Он хотел меня остановить?

— Он хотел того, кто пойдёт после него. — Марфа подняла глаза. — Может быть — тебя.

Томас медленно разжал пальцы. Свинцовая тяжесть в груди уступила место пустоте. Он достал из-за пазухи полую монету старухи — и удивился сам себе: металл был тёплым, хотя воздух в каюте промозглым. Он держал его у тела три дня — но тепло было не его.

За переборкой раздался низкий вибрирующий звук — лёд треснул, выпуская дыхание кита. Далеко. Спокойно.

Томас посмотрел в глаза кормщице и тихо кивнул.

Он наклонил свечу. Тёплый воск капнул на мёртвую бумагу — на линию курса, на крестик становища, на всё, что чернили чужие руки. Воск растёкся жёлтым пятном и застыл, запечатывая путь.

— Пусть будет так, — прошептал он. — Пусть путь идёт не по бумаге.

Марфа взяла со стола застывшую каплю — подцепила ногтем, сняла с карты вместе с кусочком воска и сжала в кулаке. Застывший воск потеплел в её ладони и стал мягким, как свежая замазка.

— Держи, — она вложила восковой шарик ему в руку. — Когда путь кончится — разломишь. Что внутри было — то и найдёшь.

— Что там было?

— Воск, — сказала Марфа. — А в воске — твоя вера, что всё ещё можно повернуть.

Томас сжал шарик. Он был тёплым, живым, податливым — как всё в этом мире, что умело ждать.

За бортом, под льдом, кто-то дышал. Ровно. Терпеливо. Не уходя.

А наверху, над мачтой, зелёная полоса сияния разорвалась — и пошла вверх занавесом, тихим и огромным, как небо над Обью.

Зима пришла на коч не с метелью — с молчанием.

Глава 4. Слух о белой тени

Костёр сложили прямо на настиле, в железном корыте, обложенном мокрым песком: Марфа не разрешала открытого огня на просмолённом дереве. Смолистые плахи трещали, лизали чёрные угли, выбрасывали искры — они поднимались на ладонь и умирали, так и не долетев до неба. Дым стелился низко, цеплялся за мачту-лиственницу, оседал на бороде горькой гарью.

Луна висела бледная, больная, с жёлтыми пятнами сквозь туман. Над северным горизонтом тянулась зелёная полоса сияния — тихая, ровная, как шёлковая нить, натянутая между двумя тьмами. Мороз стоял такой, что выдох застывал у самых губ: Томас дышал осторожно, и всё равно вата инея нарастала на вороте дублета.

Матросы сидели у огня вполоборота — лицом к морю, спиной к теплу. Так велела Марфа: тепло — за спиной, опасность — в глаза. Лица скрывались в тени, светились только глаза. Билл лежал у грот-мачты, в тонкой овчине, — он уже третью неделю не оставлял себе места у костра. Хрип его был ровный, рваный, как пилой по мокрому дереву.

Томас сидел в овчинном зипуне, натянутом поверх тёмно-синего камзола, и держал ладонями глиняную чашку. Горячий отвар отдавал горечью полыни и последней сладостью морошки. Руки грели, спина — нет. На перчатках с заячьим пухом наросла ледяная корка; он снял их и сушил у огня — пальцы вытягивало, как чужие.

— Белая Тень, — сказала Марфа с перевёрнутой бочки. Рука без двух пальцев лежала на коленях под рукавицей. — Зверь, что ходит подо льдом.

Томас поднял голову. Отвар качнулся, обжёг запястье.

— Что за зверь?

Она долго не отвечала. Потом вытянула руку к огню и провела пальцами над углями — близко, но не касаясь. Кожа светилась розовым, живым.

— Кит. Белый, как склянка. Старый, как само море. Спина у него — остров. Выдох — туман. А глаз — колодец, из которого не выпить.

Фэрфакс сидел чуть в стороне, в плаще поверх английского камзола, кобура с пистолем лежала у него на коленях — он держал её, как держат книгу. Запах пороха и пота, въевшихся в кожу, перебивал даже дым.

— Голландские китобои пишут, — сказал он, — что белый кит — редкость и добыча. Что таких бьют ради зуба. А не то чтобы они били лёд.

— Они не плавали там, где ходит Тень, — Марфа не повернула головы. — Там ходят только поморы. И покойники.

— Мне тридцать два года, госпожа кормщица. Я читал записки Виллема Баренца. Я не мальчик, чтобы верить в избу на курьих ножках.

— Баренц и не дошёл. — Она наконец посмотрела на него. — А те, кто дошёл, записок не писали. Им было нечем писать.

Фэрфакс открыл рот — и закрыл. Ближний матрос усмехнулся в бороду и тут же отвёл глаза, будто поймал себя на воровстве.

Томас смотрел на огонь. Костровые искры садились на рукав, прожигали маленькие круглые дырки — он не стряхивал.

— Ты видел его? — спросил он тихо.

Марфа медленно расстегнула ремень из сыромятной кожи, стянувший ворот зипуна. Шерсть разошлась, и в свете костра Томас увидел шрам — белый, длинный, от плеча до ключицы. Кожа на нём лежала ровно, как старая смола на борту, и блестела, когда огонь вздрагивал.

— Двенадцать зим назад, — сказала она. — На Тазу. Мы шли за соболем, а лёд встал раньше промысла. Коч затёрло на две седмицы. Мы ждали окна.

Она потянула ворот обратно, запахла.

— На третий день он пришёл. Шёл вокруг судна кругами, всплывал, слушал. Мы стояли у бортов, никто не кричал. Он поднял коч на спину — вот так, как ты держишь щепку на воде. Потом опустил. И ушёл на север. Сам.

— А шрам?

— Это не он. — Марфа взяла чашку из рук Томаса, отпила из его же посуды и вернула. — Это капкан у Ямала. А Тень шрамов не оставляет. Он не режет. Он смотрит — и потом человек пропадает. Или возвращается другой.

Ветер нанёс с моря запах озона — тяжёлый, металлический. Лёд за бортом отозвался дальним треском, глубоким, как подземный гром.

За грот-мачтой Билл закашлялся. Кашель вырвал его из овчины, согнул пополам; хрип сменился клёкотом — так выходит воздух из загнивающего лёгкого. Он поднял лицо, серое в темноте, синие губы дрожали.

— К-к-апитан... — голос шёл толчками, заикаясь на каждом втором звуке. — П-п-оздно мне... Д-д-ёсны ч-ч-ернеют. З-з-убы ш-ш-атаются.

Томас встал и подошёл. От Билла несло кислым потом и тем особенным приторным духом, который знает каждый, кто стоял у чужой болезни: старое мясо, изъеденное изнутри.

— Пей отвар.

Билл покачал головой. Пальцы цеплялись за край овчины.

— Н-не м-м-огу. Г-г-лотать б-б-ольно.

Марфа встала, молча пересекла палубу и опустилась рядом с Биллом на колени. Из-под зипуна она вытащила глиняный горшок с притёртой крышкой и зачерпнула деревянной ложкой-стружкой кислую капусту — мелко рубленную, в собственном соку, пахнущую сквашенной солью.

— Открывай рот. — Голос был ровный. — Это от гнилой крови. Кислое гонит болезнь.

Билл замотал головой. Марфа положила ладонь ему под затылок — тем самым движением, каким держат ребёнка, — и поднесла ложку к губам. Он сопротивлялся секунду, потом разжал зубы. Сок хрустел на почерневших дёснах; Билл зажмурился, глотнул, выдохнул.

— Горько... б-б-оже...

— Горькое живит. Сладкое — для свадеб. — Марфа накормила его второй ложкой, третьей, не глядя на толпившихся вокруг матросов. — Есть будем. Кто не ест — завтра ляжет. Кто ляжет — послезавтра его понесут.

Потом она достала второй горшочек, поменьше, открытый: густой желтоватый жир, застывший бугром. Макнула палец, растёрла Биллу дёсны — быстрыми, точными движениями врача, который делал это сотню раз.

— Медвежий, — сказала она Томасу, не оборачиваясь. — Держит то, что капуста поднимает. А сверху — смола. Дерево гниль не пускает, и человек не пускает.

Билл пережил и то и другое молча. Только когда Марфа убрала горшочки, он прошептал — уже почти без запинки, как будто тепло внутри отогнало дрожь:

— Сп-спасибо... к-кормщица.

— Ещё раз скажешь — зря скажешь, — ответила Марфа. — Спасибо заработай.

Матросы разошлись по котомкам. Вскоре по палубе встал их сон: вповалку, в овчинах, зипуны поверх зипунов, кто подрёбся к чужому теплу, кто спал сидя, привязав себя к рундуку ремнём — чтобы шторм не снял с места. Фэрфакс один ушёл в рубку, зажёг свечу; через щель под дверью дрожала тонкая жёлтая полоса. Он спал со светом — и это Томас отметил про него раньше, чем про всё остальное.

А перед тем, как уйти в рубку, Фэрфакс остановился у люка трюма. Долго стоял. Потом присел на корточки, приложил ладонь к крышке — так трогают дверь в доме, где ждут.

Наверху заскрипели торбазы. Марфа вышла из темноты, неся в руке тот самый пистоль — воронёная сталь тускло брала свет от костра, рукоять из моржового клыка с серебряной насечкой легла ей поперёк ладони.

— Возьми, — сказала она.

Фэрфакс не двигался. Смотрел на оружие, как смотрят на топор после топора палача.

— Ты отнял его. Вчера.

— Отняла за курок. Курок вернулся — и оружие вернулось. — Она протянула руку без двух пальцев. — Слово держи: у воды не стрелять. У зверя не стрелять. У человека — крикни трижды, потом решай.

— А если крикнуть некогда?

— Тогда помри на два счёта: свой и его. — Она вложила пистоль ему в руки и отступила. — Ты не мальчик, господин агент. Ты сам сказал.

Фэрфакс сжал рукоять. Серебряная насечка привычно легла в пальцы, и плечи его на секунду расправились — оружие возвращало ему то, чего не давала ни наука, ни компания: ощущение, что он вооружён против мира. Он кивнул — один раз, резко, как кивают под присягой.

— Слово.

— Слово на воде весит больше, чем на суше, — сказала Марфа и ушла. — У нас так верят.

Фэрфакс повесил кобуру на пояс, потрогал стволы — убедился, что оба сухи, — и только потом вошёл в рубку. Свет погас не сразу: полоса под дверью дрожала ещё долго, будто свеча не знала, догорать ей или жить.

Ночь сгущалась. Треск льда поднимался то слева, то справа, близко и далеко, и между этими ударами лежала тишина, в которой слышно было каждое дыхание команды и собственное сердце.

Ульяна не спала. Она сидела у мачты, завернувшись в овчину до подбородка, и смотрела в угасающий костёр — губы её шевелились беззвучно, молитва или песня, считалка или причитание, разобрать было нельзя.

Аня опустилась рядом, на корточки. От неё пахло берёзовым дёгтем и холодным снегом — она весь день таскала вёдра и переписывала Шумовские товары.

— Не бойся, — шепнула она. — Тень не трогает детей.

— А он злой? — Ульяна подняла глаза. В них не было страха — только детское изумление, чистое, как первый снег.

Аня посмотрела на костёр, на Марфу, на Фэрфаксову рубку со светящейся щелью. Хотела сказать что-то складно, почти в рифму, — и не сказала. Сжала челюсти, выдохнула.

— Нет. Он не злой. Он просто есть. Как луна. Как мороз.

Ульяна кивнула серьёзно, как кивают взрослому, и сдвинула овчину повыше к подбородку.

Справа, у самого борта, сидела Груша — высокая, с грубыми сапогами, точила нож о плоский камень. Движения были ровные, долгие, лезвие то вспыхивало, то гасло в отблеске углей. Белый глаз её — мутный, слепой — был обращён к морю. Чёрный, острый — ко льду.

— Белая Тень ходит, — сказала она безо всякого повода, в темноту. — Значит, лёд скоро встанет. Крепко.

— А если встанет? — спросил Томас.

— Тогда молись. Или руби. — Нож по камню прошёл ещё один длинный такт. — Я первому не умею.

Она больше не обернулась. Камень на плече её задымился от трения, запах раскалённого зерна и железной стружки тонко тянулся над бортом.

Тихий сидел у леера и штопал верёвку — единственной рукой, привычно, не глядя на работу. Второй рукав был пуст и подшит. В свете углей на его предплечье проступала наколка: синие линии, побитые тюремной иглой, — карта. Дорога, прочерченная по живому мясу.

Томас опустился рядом.

— Ты видел Тень?

Тихий покачал головой. Губы его шевельнулись — но звука не было. Он ткнул пальцем в наколку, в линию, уходящую на север, и через паузу прошептал — тихо, будто боялся, что лёд услышит:

— Я бежал. С каторги. На север, думал — свобода, ни родни, ни наказания. — Пауза. А игла его продолжала ходить по верёвке, ровно. — А там лёд. И тишина.

— Тишина?

— Там слышишь только себя, капитан. — Он коснулся пустого рукава. — Это хуже каторги. На каторге хотя бы бьют — знаешь, что живой.

— А наколка? — Томас кивнул на синие линии. — Кто твой крестик ставил — тот, что на север?

Тихий замер. Игла остановилась в верёвке. Он смотрел на Томаса так долго, что за это время лёд за бортом дважды треснул.

— Ты читал людей раньше, чем читать умеешь, — прошептал он наконец. — Крестик — это не кто. Это что. Место. Тот, кто шёл раньше, кончил там, где я не дошёл. — Он отвернулся к верёвке. — Спрашивать больше не надо. Спросишь — я врывать начну. А мне врать тяжелей, чем молчать.

Он вернулся к штопке. Наколка скрылась в тени.

Томас встал и пошёл к борту. За спиной, в углу, снова захрипел Билл — уже тише, реже. Треск льда выстроился в дальний, размеренный такт.

Томас стоял у борта один. Ладонь лежала на железном леере — металл выпивал тепло без остатка, и на кожице оставался отпечаток, знобящий, как после снега. Плечом он чувствовал топлёный воск, въевшийся в камзол, — старую, тёплую пропитку, единственное своё тепло, что всегда было с ним.

Он нащупал в кармане ребро старухиной монеты — и замер.

Монета была тёплая. Не от тела — сама по себе, как печь в пустом доме.

Она не должна была быть здесь. Три дня назад она ушла в рукав Шумова — Томас сам отдал её, потому что Фэрфакс считал всё, что лежит под дублетом, и платить пришлось тем, что не жалко. Шумов взял монету и ушёл в карбас.

А сегодня утром Томас поднял узелок соли, оставленный на палубе, — и развернул жилку. Пополнок лежал внутри, в складках сухой травы, потемневший, тёплый. Шумов вернул его. Молча, без записки, без знака — положил обратно в то, что отдавал товар.

Моя-по-твоя. Но пополнок — не плата.

Томас сжал монету. «Один он такой. Второго никто не сковал», — сказал тогда старик на набережной. Теперь он понял, почему Шумов не взял: не потому что щедр. Потому что знал. Знал, что такая монета не меняет рук — она меняет людей.

Он поднял глаза к морю — и увидел следы.

По насту, вдоль кромки заберега, шагах в двадцати, тянулась цепочка отпечатков — широких, тяжёлых, с длинными когтями вперёд. Медведь шёл вдоль борта — медленно, спокойно, как ходят вдоль чужого забора, чтобы посмотреть, кто внутри. Шёл от носа к корме. Обошёл. И ушёл в туман за мысом — следы ровные, не бег, не погоня. Осмотр.

Томас замер. Ладонь на леере остыла до кости.

— Марфа, — прошептал он.

Она была уже рядом — вышла без звука, как выходила всегда.

— Хозяин, — сказала она, глядя на следы. — Пришёл посмотреть на гостей. Считать не начинал — просто глядел. Пока глядит — значит, не судит.

— А когда начнёт считать?

— Когда посчитает, что гости забыли, чей это лёд. — Она посмотрела на Томаса. — Ты не стрелял. Это хорошо. Считать будет не тебя.

Томас молчал. Монета в кармане грела ладонь ровно, без пульса.

И тогда над мачтой раздался крик — тонкий, хриплый. Белая чайка села на топ мачты-лиственницы, вцепилась когтями в дерево, склонила голову набок и уставилась вниз — на палубу, на людей, на огонь.

Матросы проснулись не сразу. Первой среагировала Марфа: она вскинула голову, посмотрела на птицу — и молча перекрестилась. Потом Аня. Потом, один за другим, просыпаясь, все, кто спал на настиле.

— Что это значит? — спросил Томас.

— Птица на борт, — сказала Марфа тихо. — Гость. А гость к смерти приходит, когда его ждут не все. — Она подняла к чайке руку без двух пальцев, как будто прощалась. — Она не за нами. Она за тем, кто ещё не понял, что он мёртв.

Чайка сидела до полуночи. Потом снялась — разом, без разбега — и ушла в темноту на север. След от когтей остался на мачте: три мелкие зарубки, как счёт.

Фэрфакс из рубки не вышел. Свет под его дверью горел всю ночь.

И тогда Томас увидел огонь.

Маленький, тусклый, на высоком мысу в десяти саженях от коча. Он не дрожал — не дрожал вовсе. Не костёр: слишком ровный. Свеча в стеклянном фонаре, поставленная кем-то на снег, на фоне чёрной хвои.

— Марфа, — позвал он тихо.

Она подошла — шаги по насту глухие, тяжёлые. Смотрела на огонь так, как смотрят на лицо знакомого покойника.

— Обетный крест, — сказала она. — Поморы ставят. Кто обещал — вернуться. Или не вернуться. Свечу ставят тому, за кого обещали молиться до конца зимы. Пока огонь горит — тот, за кого ставят, помнят.

— А этот — о ком?

Она долго молчала. Зелёная полоса сияния дрогнула над горизонтом, задвигалась, как занавес.

— Не знаю. Но стоит он не первый год: снег вокруг вытоптан. Кто-то ходит. Каждую ночь.

— Кто?

— Может, тот, кто выжил. Может, тот, кто поставил и ушёл. — Она повернулась к нему. — Ты будешь спать?

— Сначала посмотрю.

— Ладно. Но по одному не ходи. — Пауза. — Ни к кресту, ни от креста.

Она ушла в трюм, и её торбазы — камусные, бесшумные — не оставили за собой ни звука.

Томас остался. Дыхание застывало белым паром, оседало на вороте. Сердце стучало ровно, но в такт треску льда — он слышал это, и от этого было не по себе.

Он взялся за перила сходней. Спуститься? До креста — десять саженей. Ночь стоит. Никто не видит.

Старухин пополнок лежал в кармане — он нащупал его ребро пальцами. Монета была тёплая. Не от тела — сама по себе, всегда, как печь в пустом доме.

— На возвращение, — прошептал он.

И в этот миг, за мысом, лёд отозвался долгим выдохом. Низкий вибрирующий звук прокатился по разводью, поднял мелочь в полынье, докатился до палубы и затих в мачте.

Обетный крест горел на берегу, не мигая.

Томас смотрел на него, пока не заледвели глаза. Потом поднял ворот дублета и пошёл спать — по своему следу, по свежим отпечаткам сапог, к тёплому пятну на настиле, где ещё держался остывший костёр.

К утру свеча на кресте сгорела до стекла.

Но кто-то поставил новую — раньше, чем коч проснулся.

Глава 5. Пустозерск

Пустозерск встретил их лаем собак и запахом горелой ворвани. Городок лежал на бугре над Печорой: амбары вросли в сугробы по самые волоковые окна, избы стояли вросшими, будто сама земля вырастила их из брёвен. Над острожком, за оленевыми рогами на караульной вышке, висела бледная больная луна — жёлтые пятна тумана ползли по её лицу, как тени облаков под водой.

Коч встал на якорь у заберега ещё к полуночи. Теперь, к третьему часу, они шли по насту через стойбище — Томас в суконном плаще, пропитанном дёгтем, поверх тёмно-синего камзола, в перчатках с заячьим пухом; Марфа впереди, в овчинном зипуне, в торбазах из камусной шкуры, что не оставляли на снегу ни следа, ни скрипа. Собаки провожали их по цепям — не лаяли, только глухо ворчали в горле, когда англичанин проходил мимо. Поморы живых узнают по запаху: чужой пахнет морем чужим.

Марфа остановилась у приземистой избы, от которой пахло берестой и хвоей. Сновалась на косяке защита от волка — пучок осины, потемневший от дождей.

— Дарья, — сказала она просто, как открывают дверь.

Изнутри отозвались. Томас пригнулся под притолокой, но всё равно зацепил плечом: с верхней балки посыпался сухой снег, колкий, как битое стекло, и зашёл за воротник. Он стряхивал его, зажмурившись, и в это время глаза привыкли к темноте.

Жировик чадил в железной чаше, выплёвывая в низкую избу тяжёлый запах горелого тюленьего жира. Брёвна стен закопчены до синевы. В красном углу, напротив печи, — божница: икона Николая Угодника в старой серебряной окладной ризе, перед ней лампада на ворвани. Под иконой, на узкой лавке, стояли стакан воды и ломоть хлеба, чёрного, с посеребрённым морозом.

Томас сделал шаг к лавке — и Марфа тихо положила ладонь ему на локоть.

— Не тронь. Это для тех, кто в море. Они заходят погреться, когда живым спится дурно.

Он отвёл руку. Пальцы его машинально потянулись за поясом — снять нож, положить на стол, удобно — и не успели: Дарья уже поднялась с очага и забрала нож из его руки, молча, прежде чем он понял. Положила на полку, окрестила дыханием.

— Нож на столе не оставляют, — сказала она тихо. — Нечистый на нём режет.

Голос у неё был как шелест бересты. Старуха — а это была старуха, платок тёмный сливался с тенью угла, видны были только руки — сухие, с чёрными прожилками вен — опустилась обратно к очагу и продолжила плести берестяную нить. Пальцы её двигались ровно, как у кого-то, кто плетёт эту нить шестьдесят лет и не смотрит на работу.

Марфа села на лавку у стены. Сняла рукавицу — рука без двух пальцев вытянулась к огню, и Томас увидел, как кожа на её гладком круге светится в отсвете жировика, розовая, живая.

— Дарья. Мы идём дальше, на восток. За Обь.

Нить в руках старухи дёрнулась — один раз, коротко.

— За Обь, — повторила она. — Кто за Обь идёт, тот за край идёт. Там земля тонкая. Под ней — вода. Над ней — звёзды. А между — только снег да ворон.

Томас осторожно достал из-за пазухи английский соверен. Золото тускло блеснуло в полумраке — единственное тёплое пятно в этой избе. Он протянул монету через низкий стол, перегнувшись, чтобы не задеть притолоку руками, но то и другое вышло одновременно, и он снова зацепился плечом за потолочную жердь.

Дарья даже не повернула головы.

— Земля не торгуется, англичин, — сказала Марфа за его спиной, голос низкий, с тягучим оканьем. — Её принимают. Как дар.

— Но мне нужно... — Томас запнулся. — Мне нужно, чтобы она меня пустила.

Старуха медленно разжала ладонь. На шершавой коже, среди капель пота, лежала кедровая шишка — тёмно-бурая, плотная, сросшаяся чешуйками. Она взяла её и вложила в раскрытую руку Томаса, не глядя ему в лицо, опустив ресницы.

Шишка была тёплой. Не от очага — от самой себя, как будто внутри тлело крошечное серое пламя.

— Подержи, — сказала Дарья. — Пока не станет тяжёлой. Тогда поймёшь, куда идёшь.

Он сжал пальцы. Чешуя впилась в ладонь, красные следы. Запах смолы пошёл в нос густой, пряный — и перебил всё: ворвань, дым, собачью шерсть за стеной.

— Теперь ты — наш, — сказала Марфа. — Земля тебя запомнила.

За тонкой стеной ветер ударил в жерди крыши, срывая с них снежную пыль. Томас стоял посреди чужой избы с шишкой в кулаке и впервые за долгую дорогу не знал, что сказать.

Дарья подняла голову. Посмотрела на него в первый раз — коротко, веско.

— А ты пока оставь свой нож на полке. — Пауза. — Он тебе скоро не понадобится.

Позже, когда Марфа ушла договариваться о нартах, в избе стало тише. Промысловики, что лежали на нарах, уже ушли к реке — разделывать нерпу. Томас вышел следом, по их следам, и увидел, как Кеша и двое поморов расправляют тушу на ледяном столе — широкой доске, вмороженной в наст.

Лёд под ногами был шершавым, как тёрка, и холодил даже сквозь торбаз. От нерпы тянуло железом и солью, а от топоров — смолой: рукоятки натирали сосновой смолой, чтобы не скользили в рукавице. Кеша работал молча, одним движением — удар, поворот, ещё удар — и шкура сползала, как старая кора.

Билл стоял рядом, держа в руках глиняный горшочек. Лицо его было серым, но заикание почти пропало — только на длинных словах спотыкался.

— Держи, — сказал он Томасу, протягивая горшочек. — Марфа велела.

Внутри была кашица — жёлтая, густая, пахла хвоей и чем-то острым, едким.

— Что это?

— Смола да толчёная хвоя. Ещё соль. — Билл пожал плечами. — От цинги. Говорит, если дёсны чернеют — это помогает.

Томас взял горшочек. Пальцы онемели от холода, но тепло от глины пробивалось сквозь кожу. Он хотел отказаться — но увидел, как Билл сам мажет дёсны этой смесью, как морщится, но не бросает.

— Спасибо, — сказал Томас. — Я попробую.

Билл кивнул и отвернулся, будто стыдясь, что проявил заботу.

Кеша поднял голову, посмотрел на Томаса без злости, но и без тепла.

— Тут не ждут, — сказал он. — Тут делают.

И снова ударил топором. Лёд под доской хрустнул, как кость.

Ночью, когда Марфа ушла договариваться с промысловиками о нартах, Томас остался в избе у жировика. Сон не шёл — в этой избе спят, только если привыкли. На нарах лежали вповалку двое промысловиков, овчины поднимались и опускались, как волны.

Тихий сидел на лавке у двери. Он не спал тоже.

— Ты не спишь, — сказал Томас не спрашивая.

Тихий качнул головой. Он уже снял зипун, рубаху расстегнул до пояса. В отсвете жировика его кожа была бледной, в сеть белых шрамов — от тумаков, от розог, от лагерных работ, всё смешалось в тонкую сетку, как трещины на старом масле.

— Смотри, — сказал он и повернулся спиной к огню.

Томас наклонился ближе. На спине Тихого, от лопаток до поясницы, тянулись чёрные линии — нанесённые иглой, протёртые сажей. Линии складывались в русла. Изгибы повторяли

очертания земли: Обь, вилась её гнутая спина, промысловые тропы, оленьи стёжки, зимники. Одна линия шла на восток, сужаясь, и заканчивалась маленьким крестиком.

— Это Обь, — тихо сказал Томас.

— Это я, — ответил Тихий. — Иглой. По коже. Каждый день — верста. Что прошёл, то и наколол.

Он говорил хрипло, на выдохах, как говорят больные. Каждое слово падало на пол тяжело.

— Там, где игла прошла, там я шёл. Там, где сажа легла, там я прятался. Каторга была мне плохим домом, но карта была мне телом. Убеги — а дорога с собой. Утонешь в снегу — тело запомнит.

Томас посмотрел на крестик. Кончик иглы втянулся под кожу, как будто дорога уходила дальше в темноту.

— А дальше? — спросил он тихо. — Дальше Оби. Что там?

Тихий долго молчал. Полено треснуло в жаровне — искры взлетели, погасли в темноте. Холодный сквозняк от приоткрытой двери обжёг спину.

— Я не дошёл, — прошептал он наконец. — Остановился вот здесь. — Он ткнул пальцем себе в бок, в самый конец татуировки, ниже крестика. — А дальше — белое. Я оставил себе белое. Потому что его не видно. И потому что не у всех хватает тела, чтобы дойти.

Томас почувствовал, как затылок стянуло холодом — не от сквозняка, изнутри.

— А крестик?

— Крестик — это тот, кто шёл до меня. По этим тропам. Я не знал его имени. Я нашёл его здесь. — Тихий медленно поднял ворот. — Бумага сгорит. Кожа переживёт хозяина.

Он натянул зипун, запахнул, лёг на нары к промысловикам. Через несколько секунд его дыхание стало ровным — как у человека, который давно научился засыпать мгновенно, потому что сон был единственной свободой.

Томас остался сидеть. Шишка в кармане уже не грела. Но и не остыла.

Утром Томас вышел из избы первым. Мороз ударил в лицо, как железная мизинца: жгучие красные полосы легли на щёки, дыхание превратилось в густой белый пар и осело инеем на бороде, на ресницах. По вороту зипуна наросла белая бахрома — кочан, как у оленя.

Наст под сапогами хрустел по-зимнему — плотно, с сухим лязгом, и звук шёл вверх по голенищам, в кости, в зубы. Дышать приходилось через варежку.

К полудню на стойбище выстроились нарты. Поморы вязали поклажу: мешки с солью, пласты вяленой нерпы, бочки с ворванью, железные багры с крючьями, плотничьи топоры с берёзовыми рукоятями. Томас потянулся к пеньковой верёвке — хотел затянуть узел на грузовых санях — и Марфа перехватила его запястье. Ладонь её была сухой, шершавой, пахла речной тиной и морозной пылью.

— Не твоего ума дело, англичанин.

Она отстранила его одним коротким движением и сама завязала узел — особым, поморским, который затягивается и развязывается в рукавице, не снимая её. Каждое движение было точно, как у часовщика.

Скрип полозьев по насту резал уши, как ржавый нож по кости. Поморы переглядывались, перекидывались гортанными словами на наречии, где русские корни сплетались с финно-угорской вязью. Томас ловил звуки — «каторга», «наколка», «жировик» — но смысл ускользал, как рыба сквозь пальцы. Воздух пах потом оленей, кислой рыбной кровью и разогретой кедровой смолой.

— Моя-по-твоя не понимай, — бросил кто-то из упряжки, не оборачиваясь.

Томас сжал зубы так, что заныли скулы. Чужая речь была стеной, выше которой он не мог перешагнуть.

С краю стойбища Фэрфакс стоял, не помогая. Английский камзол, дёгтяный плащ, кобура с пистолем — кремнёвый, воронёная сталь, рукоять из моржового клыка с серебряной насечкой. Он смотрел, как возятся с нартами, и его рот дёргался — то в усмешку, то в презрение.

— Твой олень помрёт на третьей вёрсте, — сказал он Марфе ровно. — Ты хоть понимаешь, сколько это по-английски — вёрст?

— Понимаю, — сказала Марфа, не оборачиваясь. — По-поморски это — до солнышка. Олень солнышко любит. Он пойдёт и до солнышка, и за него.

Фэрфакс сплюнул. Плевок застыл на лету, упал, разбился о снег белой крошкой.

Ульяна прошла мимо, неся на плече связку сушёных голов — нельминых, с подогнутыми хвостами. Шаги её были тихими, почти беззвучными на плотном снегу. Она остановилась, повернула голову — и её взгляд скользнул по лицу Томаса долгий, тяжёлый, полный странной жалости, какой не бывает у детей.

Девочка протянула ему кусок вяленой нельмы. Чешуя колола пальцы, жёсткая, рыбья броня. От рыбы тянуло солёной кровью и кедровой смолой.

— Ешь, пока не остыл, — сказала она.

Рыба была холоднее камня, но Томас откусил. Мясо крошилось на зубах, солёное, терпкое, с дымком. Второй кусок он съел медленнее. Третий уже не отдал.

— А теперь, — сказала Ульяна, — ты наш.

Она опустила голову и пошла дальше. Её тихое дыхание растаяло в морозном воздухе белым облачком.

Томас смотрел ей вслед и держал в кулаке шишку — она снова чуть потеплела, как будто земля зашевелилась под снегом, проснулась.

Они вышли на восток по насту. Кольца оленей гремели, полозья резали снег, и позади Пустозерск уходил в серую мглу — жировик из избы Дарьи дымился за спиной, как дым от чужой, тихой печки.

Томас шёл впереди упряжки, опустив голову. Каждый вдох обжигал лёгкие изнутри: запах ворвани, морозной пыли и шишечной смолы смешались в одну глотку. Собаки шли молча, опустив хвосты, дыхание их стелилось по снегу белым следом.

Фэрфакс шёл позади нарт, держа руку на кобуре. Пистоль — тот самый, воронёный, с рукоятью из моржового клыка — тянул пояс вниз привычной тяжестью, и от этой тяжести он держался на ногах увереннее, чем держался всю дорогу. Под словом Марфы он шёл, не доставая оружия, — но рука на кобуре была жестом, которым человек напоминает себе, что у него ещё есть право.

Кеша шел в упряжке, погонял оленей хворостиной, и от каждого удара по мху, набитому в упряжь, звенело коротко и ровно, как по туго натянутой бочке.

— Тпру, хозяин! Тпру! — Кеша говорил с оленями, как говорят с людьми. — Иди, не отставай, не на санках кататься вышли.

Груша шла в задней упряжке — высокая, в грубых сапогах, с ружьём за плечом. Белый глаз её смотрел на дорогу — в него, как в старое стекло, отражалось низкое небо. Чёрный — на тропу.

К обеду тайга начала сгущаться. Сосны надвигались, ели тянули к небу чёрные лапы. Небо — низкое, свинцовое — тянулось до самого горизонта, и по нему, с севера, поползла зелёная дрожь.

Сияние.

Оно шло медленно, как занавес, ползло от горизонта к зениту, оставляя за собой фиолетовый шлейф. Ульяна остановилась, задрала голову. Собаки легли на снег, поджав хвосты, не глядя на небо — как будто знали, что смотреть нельзя.

— Стой, — произнесла Ульяна. Голос её был низкий, с оканьем, будто пришёл не из горла, а из самой земли. — Слушай.

Томас замер. Холод пробирался через шубу, через кожу, до самых костей.

Ульяна открыла рот.

Звук пошёл из её горла — низкий, гортанный, нечеловеческий. Вой ветра. Скрежет льда. Стон мачты в шторме. Всё это смешалось в одну ноту, тянущуюся тонко, как нить паука в снегу. Запах хвои и её дыхания наполнил воздух, стал густым, вязким.

Холодный пот проступил на шее Томаса, под воротником. Песня вибрировала в грудной клетке, в рёбрах, в зубах.

— Ульяна... — прошептал он. — Перестань.

Она не перестала.

Песня нарастала, заполняла тайгу, вытесняла тишину. Сияние над головой дёрнулось — зелёная полоса дрогнула и растянулась на весь небосвод, заиграла фиолетовым, розовым, потом снова зелёным, и всё это двигалось в такт её звука.

Томас хотел крикнуть — звук застрял в горле, кость. Тело его перестало дрожать. Медленно, нехотя, как зверь, засыпающий у огня, тепло разлилось по венам — от груди к пальцам, от пальцев к кончикам ушей. Запах крови в носу — медный, густой — смешался с запахом её песни.

Сердце билось — его собственное — громко, барабанный бой. Жар под кожей, странный, неестественный для этой ночи.

А потом песня оборвалась. Резко, как переломленная ветка.

Ульяна пошла дальше, не оглядываясь. Собаки поднялись, отряхнули снег с шкур, пошли за ней. Марфа не споткнулась, не остановилась — только один раз повернула голову и посмотрела на Томаса. И снова отвернулась.

Томас стоял, глядя на свои руки. Они были чёрными от мороза, онемевшими, чужими. Он не чувствовал боли. Только жар, оставшийся после её песни, горел изнутри — не от огня, не от движения. От звука.

Он сделал шаг. Потом ещё один. Тайга дышала.

К вечеру они встали на ночлег у края наста, где начиналась полынья — круглый чёрный глаз воды среди льда. Снег вокруг неё был протоптан, отутоптан ногами — чужими, старыми, полузасыпанными.

Костёр разожгли в корыте, на настиле карбаса, вытащенного на лёд и положенного на бок. Кеша настрогал строганину — свежезамороженную нельму, тонкими, полупрозрачными стружками, и стружки хрустели на зубах, тая, оставляя во рту сладость и соль. Билл ел медленно, старательно, и дёсны его уже не кровили.

— Порядок, — сказал Кеша, подмигивая Биллу. — Завтра пойдёшь с нами на лыжи. Руки вспомнишь, как держать.

— Я л-лондонский матрос, — Билл улыбнулся разбитым ртом. — У нас руки — в-в-весла.

— А здесь руки — топор. Не сумеешь — замёрзнешь вежливым.

Ульяна сидела у огня, не ела. Она смотрела в полынью — на чёрный круг воды, и в её глазах, в отсвете углей, плавали два маленьких пожара.

— Она приходит ночью, — сказала она тихо. — Когда лёд стоит. Приходит и слушает, кто дышит.

— Кто? — спросил Томас.

Ульяна подняла на него глаза. В них не было страха — было знание, слишком старое для семилетней девочки.

— Тень, — сказала она просто. — Он не злой. Он помнит.

На обломке лиственницы, высоком, вросшем в сугроб, сидел ворон. Птица наклонила чёрную голову, глядя на Томаса круглым, неподвижным глазом. Когти на её лапах блестели в последний свет — сияние уже потухло, но не угасло, оно теперь просто лежало низко, за горизонтом, как тлеющий камень.

Издалека, со стороны реки, донёсся глухой треск. Лёд начинал двигаться, разламывая сморозь. Земля под подошвами дрогнула мелкой, едва уловимой дрожью — так дрожит половица, когда по дому ходит тот, кого не слышно.

Томас нащупал в кармане шишку. Дерево было холодным. Мёртвым. Оно больше не грело ладонь.

— Значит, — прошептал он, — я всё-таки понял.

Ворон каркнул трижды — низко, утробно. И улетел на юг, в темноту.

Фэрфакс, сидевший у края костра, поднял голову на крик птицы и невольно потянулся к кобуре. Пальцы легли на рукоять — привычно, на весу, — и легли. Ни курка, ни ствола не потревожили. Он просто вспомнил, что оружие с ним, и успокоился — как успокаиваются, трогая ключ от дома, в котором уже не живут.

Томас стоял один на границе двух миров — позади догорал Пустозерск, впереди лежала Обь, а между ними — снег, тишина и маленький огонёк на мысу. Свеча в стекле. Обетный крест. Кто-то уже поставил новую свечу — свежую, не тронутую ни снегом, ни ветром.

Свеча горела не мигая. О тех, кто не вернулся.

И — о тех, кто шёл после.

Томас долго смотрел на неё. Потом достал из-за пазухи шишку, поднёс к лицу и почувствовал запах — тёплый, смолистый, запах кедра и очага Дарьи, запах земли, которая запомнила его.

Шишка не грела. Но она была.

И — под коркой льда, глубоко, там, где никого нельзя было увидеть, — кто-то выдохнул. Один раз. Тихо. Как договаривают слово во сне.

Полынья задышала. Круг воды пошёл рябью — от края к центру. И застыл.

Снег над тайгой ложился крупно, медленно, и засыпал следы — и те, что остались от нарт, и те, что не оставил никто.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.